

— Светлана, есть ли у вас ощущение, что вы живете после социализма?

— Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы все говорим и говорим о переменах, а сама жизнь все не меняется и не меняется. И чем больше мы твердим демократические заклинания, тем меньше перемен за окнами наших домов. Конечно, какая-то часть людей (в основном это молодежь) живет после социализма, поскольку они родились уже вне того, что было с нами, они не помнят того, что помним мы. Наше общее прошлое было просто отринуту этим новым поколением. Однако очень многие продолжают жить прежней памятью, прежними привычками, прежними устоями. Они никуда не уезжали, но оказались в другой стране. Новое их пугает. Все эти невесты откуда появившиеся банки, киоски, рекламы — все чуждо им и вызывает протест. Им просто не хочется выходить из дома, их дом — последний островок, последняя обитель той жизни, которой они жили всегда и которую ни за что не хотят менять. В этом смысле они продолжают жить при социализме. А взгляните на тех, кто представляет власть. Это же типичные люди социализма, люди философии силы, поколение политиков прежней ориентации. Война в Чечне — вот классический знак, напоминающий мне, что по существу мы никуда не ушли из нашего недавнего прошлого, что все, чем мы жили, осталось: и наш социализм на штыках и танках, и военное мышление, и военные ценности. Как же я могу сказать, что живу после социализма?

Когда высокий государственный чиновник говорит о чеченцах как о ворах, убийцах и бездельниках, то это совсем недалеко от того, чтобы за одну ночь выселить целый народ, как когда-то. Или этот бесконечный цинизм с невыплаченной зарплатой. Или стиль снятия людей с работы — того же Козырева или Чубайса... Покуда это все не преодолено, я не могу сказать, что живу после социализма.

Я понимаю, не возникают демократические ценности из ничего. Это же не «сникерс», который можно привезти. Мы — романтики. Мы думали, что свобода — это только выйти из тюрьмы, и все. Но оказывается, психологически человек не скоро перестанет быть узником, даже покинув свою тюремную камеру.

Однажды во Франции на встрече с читателями один юноша очень активно задавал мне вопросы. И вдруг в какой-то момент я поймала себя на том, что не понимаю его, мы могли установить с ним адекватный контакт. Скорее всего, и он плохо понимал меня, оттого все время пытался что-то прояснить для себя. Потом выяснилось, что этот юноша — с Канарских островов. А я, по существу, с другой планеты, где всю жизнь прожила в окружении военных понятий («враг», «друг», «свой», «чужой», «погибнуть за родину», «отдать жизнь», «мы не дрогнем в бою», «вставай на смертный бой», «до смерти четыре шага»...). У того юноши с детства есть ощущение нормы, нормальной жизни. А у меня норма — это наша бесконечная война с внешними и внутренними врагами, то, что нормой быть не может никогда. Понимаете?

— Тем не менее вы известны как человек, отстаивающий принципы нормальной жизни. Более того, вряд ли среди современных писателей есть у нас более «антивоенный» автор. Значит, в вас тоже есть ощущение нормы. Откуда же оно взялось, если наша жизнь была насквозь пронизана милитаризмом?

— Я родилась в деревне. Мои родители — сельские учителя. Может быть, некая деревенская патриархальность ближе к норме, к естественному ходу жизни... Помните, в 70-е годы у нас был расцвет так называемой деревенской литературы? Я думаю, это было не случайно. Деревенская литература как-то уравнивала тотальное влияние на читателя литературы о войне. А это влияние, на мой взгляд, опасно, потому что декларирует ценности, далекие от норм. Все-таки представители военной прозы смотрели на мир глазами системы. Они учили нас геро-

Светлана АЛЕКСИЕВИЧ,



ПИСАТЕЛЬНИЦА
ИЗ БЕЛОРУССИИ:



ШАГ ИЗ СТРОЯ

изму смерти, жертвенности, самозабвению. Они если не сформировали, то укрепили систему наших ценностей, в которой Родина на первом месте, а человеческая жизнь — на последнем, ею всегда можно пожертвовать...

Я помню рассказы ветеранов Великой Отечественной. Когда наши солдаты начали наступать и занимать немецкие окопы, их сводил с ума запах кофе, вид галет, аккуратно завернутых в целлофан. Это казалось элементом другого инопланетного мира: как это так — простой солдат пьет кофе и ест галеты? Нет, такой солдат не способен был к самопожертвованию. Мне до сих пор кажется, что домашний уют, чистые скатерти, красивая посуда, запах кофе и пирогов не связаны с идеей самопожертвования. С другой стороны, наши политики, направлявшие и направляющие нас на фронт, хотели бы, чтобы в окопах воевал «человеческий материал»: отделения, взводы, батальоны, полки, дивизии... Но не люди. Не случайно, я думаю, и сегодня в окопах федеральных войск в Чечне не то что запаха кофе — запах каши или борща редко можно ощутить, об этом свидетельствуют прокурорские проверки. Все правильно, так относятся не к людям, так относятся к человеческому материалу.

Может быть, мы просто восточные люди, нас так много, и мы поэтому не придаем должного значения отдельной жизни и смерти? Знаете, у меня больше всего оппонентов, когда я говорю, что нет ни одной идеи выше человеческой жизни. Я-то абсолютно в этом убеждена. Вы только подумайте: жизнь, эта хрупкая счастливая космическая случайность, нужна, оказывается, лишь затем, чтобы закрыть вражеский дот или спасти из огня колхозный трактор. Или для того, чтобы взять Грозный к 31 декабря. Разве не страшно?

— Кстати, к вопросу об идеях и человеческих жизнях. Вот есть социалистическая идея и есть ее реальное воплощение — социализм, в котором мы жили и отчасти продолжаем жить. Почему, казалось бы, сугубо мирная идея рождает военных чудовищ?

— Идея действительно может показаться замечательной. Но у нас социалистическая идея стала в полной мере религиозной, она, что называется, упала на благодатную почву. И все мы стали, подобно крестоносцам, звездносцами. У меня только что вышла книга, она называется «Зачарованные смертью». Я опросила более сотни человек, среди них — и жертвы, и жрецы социалистической идеи, и те, кто сидел в лагерях и тюрьмах, и те, кто этой системой управлял. Знаете, что меня более всего поразило в исповедях людей? Никто не считает себя виновным. Все винят идею. Это идея-убийца. Все

говорили мне, что идея всегда пожирала лучших из лучших: самых образованных, самых талантливых, самых искренних, самых честных... Раньше мне казалось, что за все, что с нами произошло, должны нести ответственность конкретные люди, теперь я понимаю, что идея тоже должна отвечать перед судом истории.

— Но может быть это только нам не повезло с социализмом? В конце концов социал-демократы в западных странах обходятся без крови и лагерей...

— Ну, разумеется, когда вы приходите к социалистическим идеям, так сказать, с компьютерного уровня, вам не придет в голову прежде всего построить ГУЛАГ. Но у нас-то все иначе. Не случайно, наверное, вершиной нашей технологической мысли за семь десятилетий социализма явился не лучший в мире компьютер, не лучший в мире образец жилища, не лучшая в мире коляска для ребенка, а лучший в мире автомат для уничтожения людей — автомат Калашникова. Подобно немецкому «мерседесу», подобно американскому компьютеру «Эппл-Макинтош», подобно французским духам и одежде, наш «Калашников» — чуть ли не единственный безоговорочно признанный во всем мире конкурентоспособный продукт российской экспорта. Конечно, есть еще российские нефть и газ. Но в отличие от автомата Калашникова нефть и газ создал Господь Бог, а не мы с вами. Так что экспорт ресурсов тут не в счет.

— Вы говорите, что идеи тоже должны отвечать перед судом истории. Стало быть, можно сказать, что в негативных последствиях реформ виновата и идея свободы, демократическая идея?

— Я думаю, что в негативных последствиях реформ прежде всего виновата интеллигенция, не сумевшая понять сама и объяснить народу, что свобода — это не праздник, а тяжелая работа. Мы сами подняли знамя реформ, а потом, когда увидели, что получается плохо, стали винить во всем народ: он у нас и быдло, и толпа, и «совок»... Но священник не может винить пастыря. На самом деле мы просто открыли двери тюрьмы и сказали человеку: ты свободен. Это безответственно, хотя и романтично. Надо было готовить людей к свободе.

— Вы говорите так, словно интеллигенция сама не была в той же тюрьме вместе со всеми. И потом, чтобы готовить народ к свободе, надо было самим ясно представлять, что это такое.

— Верно, я тоже не выставляю интеллигенцию «за скобки» народа. Но все же мы больше знали, нам больше доверяли, еще совсем недавно мы считались духовными учителями нации, стало быть, с нас и спрос больше.

— Хорошо, поговорим о другом. К чему, на ваш взгляд, в этом новом времени советский человек не сможет привыкнуть или будет привыкать с большим трудом?

— Настоящая рыночная экономика и демократическая система требуют от человека умения жить самостоятельно, скорей индивидуально, нежели коллективно. Мы привыкли наоборот, мы так воспитаны. Вот путь индивидуализации, с моей точки зрения, очень болезнен, мы с этим вообще не знакомы. Как-то у меня гостила переводчица из Германии. Она очень рано вставала. Однажды рано утром прихожу на кухню — она там сидит. «Что ты делаешь?» — спрашиваю. «Наслаждаюсь утром», — отвечает она. Я была потрясена. У нас нет этого благоговения перед жизнью, умения наслаждаться ею. Это другая ментальность. И социализм, кстати, тут ни при чем. Этого почти нет и в русской философии. С другой стороны, западные люди часто приезжали к нам учиться нашему умению жить вместе, нашему коллективизму. И то, что это утрачивается нами со временем, обидно.

— А что еще, на ваш взгляд, нам предстоит утратить, с чем нам необходимо будет проститься?

— У меня в книге есть исповедь женщины-инженера, попавшей под сокращение штата. Знаете, о чем она тоскует? Не об утраченной работе, а о том, что каждую неделю у кого-то в отделе был день рождения и все собирались на чай, трепались, курили, обсуждали друг друга в этом маленьком женском коллективчике, крутили маленькие и незаметные служебные романчики... Вот что ей по-настоящему жалко потерять, а не работу вовсе. Она даже и не помнит толком, чего они там делали. Согласитесь, это ведь очень характерно для нашей социалистической жизни: важно было только встать на эскалатор или втиснуться в вагон метро. И все. Стой себе спокойно, сдавленный с боков, сзади и спереди такими же, как и ты сам; рано или поздно поезд всех доведет до нужной станции. Теперь же, когда новое время потребовало от человека самостоятельности, инициативы, когда постепенно кончается это общее полусонное движение на одном эскалаторе с одинаковой для всех скоростью, многих пугает это начало индивидуальной, разной жизни. Легче и проще вернуться в привычное состояние, нежели приобрести новое. Думаю, эта особенность массового подслепования очень активно используется коммунистами в своих интересах.

Знаете, недавно я ездила на Кипр, внимательно присматривалась к пожилым людям, которые приезжают туда из западных стран. К 60 годам они производят впечатление очень изношенных. Конечно,

они больше живут, чем мы, но чувствуется, что они вышли из более жесткой жизни. Все правильно, там не ждут помощи от государства, там понимают, что в этом театре они сами и драматурги, и режиссеры, и актеры собственной пьесы-жизни.

— Может быть, поэтому и живут дольше?

— Очень может быть...

— Кстати, о западной жизни. Вот американцы утверждают, что отдельный дом у них стоит в среднем 300 тысяч долларов не только потому, что так складывается конъюнктура на рынке жилья, но еще и для того, чтобы приобретение собственного дома стало пожизненной целью для среднего американца. Такой порядок цен невозможно преодолеть враз, приходится брать кредит в банке, который потом длительное время выплачивать. Таким образом сама система делает американский Дом — важнейшей жизненной ценностью, а может быть, и смыслом жизни для американца. Может ли это же стать смыслом жизни для нашего человека? Может ли приобретение или строительство собственного жилья, благоденствие семьи, счастье детей заменить для нас наличие общенациональной идеи, объединяющей всех?

— Боюсь, что нет. Как выясняется, без идей, которые нами руководят, властвуют над нами, мы жить не можем. Вот, смотрите, что происходит сейчас. Не успели мы освободиться от пут коммунистической идеи, как нас тут же потянуло назад. А в Чечне что воюет? Идея национальной целостности великой России. Но сожрала эта идея уже несколько десятков тысяч ни в чем не повинных людей... Мы никогда не жили Домом, опыта нет, традиций. Мы все время были бездомными: в коммуналках, в клетушках государственных квартир из железобетона с щелями в окнах и вечной теснотой; на ударных стройках, на целине, где провели лучшие годы целые поколения советских людей. «Наш адрес не дом...» помните? Нам не позволена была роскошь уединения в собственном жилище. Знаете, что самое трудное в армии? Уединиться. А мы все время жили, как в армии: одинаково, бок о бок, у всех на виду. Оно и понятно: так нами было легче командовать, в похожих, как две капли воды, квартирах крупноблочного дома росли одинаковые дети с одинаковыми в принципе мыслями и взглядами на жизнь. Блочные пятиэтажки — символ социализма. Интересно, что сносить их начали только теперь.

Знаете, моя знакомая переводчица подрабатывает в Германии в полицейском участке. Она человек образованный, читала русскую классику, неплохо знает нашу жизнь. Так вот, однажды она переводила на судебном процессе по делу выходца из России, который бросил жену и детей и ушел жить к другой женщине. Просто так. Суд никак не мог понять мотивы его поступка. И тогда она вынуждена была объяснить судье, что в России понятия «дом» и «семья» значат гораздо меньше, чем в Германии, что в системе ценностей современного русского человека все это занимает, мягко говоря, незначительное место. Никогда не забуду исповедь матери, которая, получив гроб с телом сына из Афганистана, была полна гордости за то, что ее чадо погибло за Родину. Вот это — погибнуть за Родину — пока для нас важнее, чем построить дом и воспитать детей.

— Говорят, вы работаете над книгой исповедей о счастливой любви.

— Это правда. Вообще, я считаю, что человеку дано совершить не так много главных дел на этой земле: он живет, убивает себе подлое, любит, рождает и ухаживает. О каждом из этих главных дел я решила написать книгу. Вот теперь пришла очередь любви. Я записываю рассказы людей. Это очень интересно. Когда собеседник откровенен, у меня появляется надежда, что моя книга, возможно, будет важной догадкой и о человеке, и о времени, в котором он живет...

Юрий ЛЕПСКИЙ,
Ольга СОЛОМОНОВА.